

РАЗНОВИДНОСТИ КОЛОНИАЛИЗМА: О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ПОСТКОЛОНИАЛЬНОЙ МЕТОДОЛОГИИ К ИЗУЧЕНИЮ ПОСТКОММУНИСТИЧЕСКОЙ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

Микола Рябчук

Аннотация: В статье рассматриваются возможности применения постколониальных подходов к изучению различных процессов и явлений в посткоммунистических странах Восточной Европы, которые исторически принадлежали к «внешней» части Советской империи. В частности, автор показывает, что ряд особенностей развития посткоммунистической Украины становятся понятнее в контексте российско-советского внутреннего колониализма и что именно различные типы колонизации разных регионов в значительной мере обусловили нынешний украинский регионализм и общую социальную амбивалентность. Одновременно автор определяет объективные пределы постколониальной интерпретации Восточной Европы, обусловленные прежде всего отсутствием в советском империализме эксплицитно расистской компоненты, крайне важной для классических (пост) колониальных ситуаций. Именно это обстоятельство делает российско-советский колониализм значительно более инклюзивным: он был дискриминационным в отношении отдельных групп, но к индивидам применял только требование идеологической лояльности. В целом, признавая эффективность постколониальных подходов к объяснению многих явлений посткоммунистического, в том числе постсоветского мира, автор все же защищает потребность постоянной саморефлексии и методологической самодисциплины, обусловленной четким осознанием отличий российско-советского колониализма от классического колониализма.

Ключевые слова: постколониализм, посткоммунизм, Украина, Советская империя, внутренний колониализм.

Двенадцать лет, которые прошли с момента появления известной статьи Дэвида Чиони Мура [Moore 2001] о применимости постколониальных подходов к изучению посткоммунизма, принесли немало публикаций в развитие этой темы, но все же так и не развеяли вокруг нее ауру определенной маргинальности и противоречивости. Ни главные представители постколониальных исследований пока еще не включают посткоммунистический мир в сферу своего интереса, ни ведущие исследователи посткоммунизма не спешат включать постколониальную методологию в свой рабочий инструментарий. Что же касается тех авторов, которые все же стремятся наводить мосты между указанными двумя подразделами, или, как сказал бы Мур, выясняют, насколько приставка «пост-» в слове «посткоммунизм» являет-

ся той же самой, что и в слове «постколониализм», — то им приходится начинать почти каждый труд своеобразной апологией избранного ими подхода [Moore 2001; Carey, Raciborski 2004; Chari, Verdery 2009; Fiut 2007; Korek 2007; Kuhiwczak 2013; Scheibner 2009; Skórczewski 2009; Stefanescu 2012; Tlostanova, Mignolo 2009]. Все это свидетельствует о шаткости, неопределенности, неустойчивости определяемой здесь дисциплины.

Дэвид Мур назвал взаимное невнимание исследователей посткоммунизма и постколониализма один к другому «двойным молчанием» („double silence“, что можно перевести также как «обоюдное замалчивание») и попытался обнаружить его объективные причины. С одной стороны, утверждал он, недоверие исследователей постколониализма к объектам посткоммунистического мира обусловлено их исторической привязкой к трехчленной модели мира, разделенного соответственно на «первый», «второй» и «третий» мир, а также преимущественно их левыми политическими ориентациями, которые не позволяли ставить идеализованный коммунистический мир в один ряд с отталкивающим западным империализмом [Moore 2001: 117].

А с другой стороны, недоверие исследователей посткоммунизма к постколониальным студиям тоже имеет свои объективные причины. Во-первых, утверждает Мур, для них всегда существовала четкая дискурсивная граница, обусловленная расовыми и религиозными различиями, между советским «Западом» и «Востоком», которая делала народы советского «Запада» еще более отличающимися от народов Азии или Африки. А во-вторых, сами восточно-европейские народы стремятся как можно дальше дистанцироваться от (пост) советской России, полагая своей стратегической целью «возврат в Европу», к которой, говорят, они всегда принадлежали. Тем самым советское доминирование представлялось преимущественно в категориях оккупации, а не колонизации. Восточноевропейские народы не без основания опасались, что акцент на их колониальный статус в советской империи может преуменьшить их европейскую идентичность в глазах Запада и усложнить их евроатлантическую интеграцию.

Можно добавить еще несколько факторов к тем, которые, по мнению Мура, обуславливают «обоюдное замалчивание». Среди исследователей постколониализма, которые нередко являются выходцами из «третьего» мира, заметно желание монополизировать страдания, связанные с колониальным угнетением. В основе этого, часто неосознанного, желания лежит опасение в том, что действительно уникальная проблема расовой дискриминации и расистского колониализма может быть преуменьшена путем сопоставления с другими, не-расистскими формами угнетения и доминирования. (Кстати сказать, что-то подобное наблюдается и среди исследователей Холокоста, которые часто крайне настороженно относятся к попыткам отдельным коллег сравнить это уникальное явление с другими геноцидами или же рассматривать его в более широком контексте нацистских «кровавых земель» [Снайдер 2011] и истребления на них восточноевропейских «недочеловеков»).

Между тем среди исследователей посткоммунизма преобладает склонность к транзитологической парадигме, которая рассматривает изменения во «втором» мире прежде всего как процессы демократизации, строительства институтов и догоняющей модернизации. Что касается культурно-антропологических аспектов, которые лежат в основании постколониального теоретизирования, то политологи преимущественно не придают им существенного значения. Возможно, только теория «зависимости от траектории пройденного развития» (path-dependence) открывает определенные возможности применения постколониального подхода к посткоммунизму не только как политическому, экономическому и институциональному феномену, но и как культурному и дискурсивному [Патнем 2001].

Кроме того, не исключено, что недоверие исследователей посткоммунизма к постколониальной методологии обусловлено злоупотреблением терминами «империя» и «колониализм» в массовой журналистике и политической пропаганде, где они имеют исключительно отрицательную окраску. Именно в этой роли — как воплощение абсолютного зла — они часто используются для обвинения прежней метрополии во всех возможных проступках и для

отпущения грехов ее жертвам от какой бы то ни было собственной ответственности за свое нынешнее положение. Авторитету постколониальных исследований не благоприятствует также использование антиколониальной, антимодернистской методологии различными антимодерными, антиглобалистскими и неоконсервативными движениями, особенно в Восточной Европе, где они стремятся представить Запад как нового «хозяина» («вашингтонский обком»), который будто бы просто пришел на смену старому московскому хозяину.

Все эти факторы действительно являются достаточно существенными, чтобы их учитывать, но не настолько, чтобы они могли дискредитировать и исключить использование постколониальной методологии при изучении посткоммунизма. Какими бы ни были различные отличия между «вторым» и «третьим» миром, именно подобия между ними способствуют применению определенных теоретических концептов и критических инструментов из круга постколониальных исследований для анализа некоторых процессов и явлений посткоммунистического мира. Как пишут Дорота Колодзейчик и Кристина Шандру, особенно это относится к наличным в посткоммунистическом мире «структурам включения/исключения (модель центра/периферии, лиминальности и бытия-между), формациям национализма, структурам дифференциации и репрезентации различий, формам и способам исторической реализации антиколониальной/антиимперской борьбы, травматического опыта (включая вопросы коллективной памяти/амнезии и переписывания истории), сопротивления как комплекса культурных практик и таких концептов, как альтернативность, амбивалентность, самоколонизация, культурная география, дислокация, культуры меньшинств и подчиненные культуры, неокOLONIALИЗМ, ориентализация, транснационализм» [Kołodziejczyk, Sandru 2012: 113].

Действительно, сравнение не означает уравнивание; речь ни в коем случае не идет о снятии различий между посткоммунизмом и постколониализмом, а только о более систематичном и последовательном выяснении определенных подобий между ними. В частности, Колодзейчик и Шандру напоминают, что и во «втором» и в «третьем» мире принудительная модернизация имела общие свойства: как «прикладной марксизм», то есть коммунизм, так и промышленных капитализм реализовали аналогичную политику ускоренной индустриализации и урбанизации, развития инфраструктуры, борьбы с религиозными предрассудками, трайбализмом и традиционным образом жизни (который колонизаторы называли «варварским», а коммунисты — «буржуазным») [Kołodziejczyk, Sandru 2012: 115].

Дэвид Мур приводит еще более подробный список подобий между российско-советской колонизацией соседних территорий и западной колонизацией заморских стран, которую, собственно, и считают «классической»:

«Суверенные местные правительства заменяются марионеточными или прямым контролем метрополии. Африканская система образования ставит в привилегированное положение язык колонизаторов, местная история переписывается с имперской точки зрения. Автохтонные религиозные традиции подавляются, идолы уничтожаются, взамен утверждаются альтернативные религиозные и нерелигиозные идеологии. Колонизированные районы Африки подвергаются экономической эксплуатации. Самостоятельная торговля колоний между собой или с внешними партнерами строго ограничивается или целиком запрещается. Экономическое производство осуществляется на командной основе и приспособливается к потребностям метрополии, а не к местным нуждам. Если местные валюты даже существуют, они конвертируются только в валюту метрополии. Сельское хозяйство становится монокультурным, окружающая среда подлежит деградации. В гуманитарной сфере голоса диссидентов слышны лишь в эмиграции, но попасть в нее крайне сложно. Тем самым оппозиционная энергия направляется в различные формы мимикрии, сатиры, пародирования, анекдотов. Однако наиболее общей характеристикой общества является культурная стагнация» [Moore 2001: 114].

Кстати сказать, это последнее свойство еще двадцать лет тому назад пронизательно заметил Марко Павлишин, обсуждая постколониальный контекст и, соответственно, колониальное наследие именно в Украине: «Культурные явления (произведения искусства,

культурные учреждения, процессы в культурной жизни общества) можно считать колониальными, если они способствуют утверждению или развитию имперской власти, лишают престижа, сужают поле активности, ограничивают сферу видимого горизонта, а то и уничтожают то, что является местным, автохтонным, словом, колониальным, одновременно подчеркивая достоинство, мировой масштаб, современность, необходимость и природность столичного, центрального» [Павлишин 1993: 116].

Безусловно, и колониальный, и коммунистический миры были достаточно разнородны, а потому далеко не все перечисленные Муром колониальные свойства одинаково относятся ко всем странам. На самом деле Советский Союз был весьма специфической империей, и те, кто считает советский эксперимент неколониальным «не без оснований указывают на стремление коммунистов освободить трудящиеся массы, ликвидацию многих привилегий для этнических русских на юге и востоке прежней империи, поддержку многих союзных языков, строительство заводов, больниц, школ, освобождение женщин от гарема и паранджи, поддержку антиколониальной борьбы в мире, а также тот факт, что немалое число нерусских в советской сфере влияния поддерживало большевистский режим» [Moore 2001: 123].

Но таким же образом и те, кто считает советский режим только иной разновидностью колонизаторов не без оснований указывают на «массовые депортации целых народов, геноцидное поселение казахских кочевников, принудительное введение монокультур в Средней Азии и экологическую катастрофу Аральского моря, советский захват независимых балтийских государств в 1940 году, обязательную российскую этничность во главе каждой советской республики, советские танки в Будапеште 1956 и Праге 1968 годов» [там же: 124].

Существует немало других аргументов в пользу обоих точек зрения, однако Мур считает, что самое главное здесь — это субъективное ощущение порабощенных народов: «Безусловно, с точки зрения узбека, венгра или литовца ситуация была колониальной. По большинству классических признаков — отсутствие суверенной власти, ограничение выезда, военная оккупация, отсутствие конвертируемой валюты, подчинение национальной экономики внешнему гегемону, принудительное изучение языка колонизаторов — центрально-европейские народы действительно находились под русско-советским контролем примерно с 1948 до 1989-1991 годов» [там же: 121].

Понятно, что все это еще в большей мере относится к порабоженным народам внутренней советской империи, которые находились под еще более жестким контролем на протяжении еще более длительного времени [Величенко 2009].

Дэвид Мур отмечает, что в некотором смысле почти все народы мира в определенные периоды своей истории были колонизированными, и потому сегодня могут изучаться с постколониальной точки зрения. Однако такое расширение перспективы девальвирует саму категорию постколониальности и лишает ее аналитической силы. В случае постсоветской сферы эта девальвация не представляется опасной, поскольку «Россия, а затем СССР действительно осуществляли мощный колониальный контроль над громадной территорией от пятидесяти до двухсот лет, и хотя большая часть такого контроля сегодня закончилась, его последствия все еще заметны в литературах и культурах постколониальных-постсоветских народов, включая саму Россию» [Moore 2001: 123].

При этом автор признает «специфические модальности русско-советского контроля и его постсоветских ревербераций» и их существенное отличие от «стандартного англо-французского случая». Дальнейший ход его аргументации однако, вызывает недоумение: «Но опять-таки, ставя в привилегированное положение англо-французский случай как своеобразный колониальный стандарт и трактуя российско-советский опыт как отклонение, мы тем самым искусственно поддерживаем давно устаревшее центральное положение западного, то есть англо-французского мира. Я думаю, пора покончить с этой традицией» [там же: 123].

Аргумент странен, поскольку признание уникального опыта расово униженных и угнетенных народов ни в малейшей мере не ставит их угнетателей в привилегированное положение.

ние, точно так же, как признание Холокоста нисколько не ставит в привилегированное положение ни нацистов, ни Запад в целом. Исключительная важность именно расового унижения в постколониальных исследованиях не имеет ничего общего с мнимой центральностью западного, то есть англо-французского мира. Такое признание лишь устанавливает определенную систему координат, точку отсчета, по отношению к которой мы можем рассматривать другие виды колониального опыта — с разной мерой эксплуатации, угнетения и дискриминации, но без основного и на самой деле центрального для постколониальных исследований опыта расистского супрематизма.

В этой системе координат наиболее близким к классическому колониализму является опыт расово различных народов Российской, а затем российско-советской империй, колонизация которых преимущественно имела либо поселенческий характер, как в Сибири и на Крайнем Севере [Slezkine 1994], либо классически-завоевательный характер, как в Средней Азии и на Кавказе, вплоть до настоящего времени [Layton 1994]. Наименее подобным классическому колониализму является опыт народов Восточной Европы, принадлежащих к «внешней» империи. Во-первых, в отличие от народов «внутренней» империи они все-же сохраняли определенный политический, экономический и особенно культурный суверенитет. Во-вторых, они никогда не интернализировали комплекса неполноценности в отношении колониального гегемона, поскольку ко времени вступления советских войск уже успели сформировать сильное национальное самосознание, то есть стали вполне современными эгалитарными нациями, которых можно оккупировать, но невозможно покорить, ни путем кооптации (или истребления) местных элит, ни путем навязывания им мнимой более высокой культуры метрополитанального центра. Наоборот, на протяжении всего периода принудительной принадлежности к «Советскому блоку» они культивировали собственное, иногда даже гипертрофированное чувство превосходства по отношению к «восточным варварам» [Кундера 1995], легитимизирующим свое доминирование лишь грубой силой и, в меньшей степени, противоречивым нарративом «освобождения» Восточной Европы во время второй мировой войны, а также малоубедительными претензиями на роль лидеров мирового революционного движения. Вне сомнения, восточноевропейские государства были протекторатами, но скорее неоколониального, нежели колониального типа.

В этом контексте Украина и Беларусь представляют промежуточный случай между по существу классическим колониализмом в российско-советской Азии и на Кавказе и относительно мягким неоколониальным доминированием СССР в Восточной Европе. С одной стороны, украинцы и белорусы не имели даже того ограниченного суверенитета, которым обладали их западные соседи, — что особенно четко, согласно Павлишину, проявлялось в сфере культуры. Но, с другой стороны, они не ощущали такого унижения с расовой точки зрения, как народы Востока, — открытого в Российской империи, скрытого — в российско-советской. На групповом уровне их права были существенно ограничены, но на индивидуальном уровне дискриминации практически не существовало, поскольку украинцы и белорусы в Российской империи официально считались «тем же народом», что и русские (или «почти тем же», в империи советской). Однако для этого они были вынуждены принять роль «того же самого» (или «почти того же самого») народа, стало быть, отказаться от своей украинской (или белорусской) идентичности как совершенно иной, автономной и самодостаточной. Нежелание отказаться от своей инаковости и от определенных групповых (национальных) интересов, не обязательно тождественных российским, трактовалось как нелояльность в обеих империях и преследовалось как измена. Украинцы фактически были разделены на «своих», «одомашненных» («хохлы», «малороссы») и на чужих, враждебных («бандеры», «мазепинцы») [Karpeleer 2003]. Первые были скорее советским субэтносом, в целом безвредным местным этнографизмом, тогда как вторые стремились стать отдельным народом, — именно по этой причине они ощущали в обеих империях всестороннюю дискриминацию и репрессии.

Дэвид Мур считает, что в Украине преобладал третий, «династический» тип колонизации (вместе с упомянутыми выше поселенческим и завоевательным). Он был распространен главным образом в домодерную эпоху, когда идентичность определялась прежде всего конфессиональной и сословной принадлежностью, а категория «нации» относилась исключительно к высшим социальным классам. Династическая колонизация была относительно легкой, поскольку империи надлежало лишь позаботиться о кооптации местных элит, тогда как массы простого, преимущественно сельского населения постепенно ассимилировались в рамках общеимперского процесса модернизации и аккультурации.

Обе империи — Российская и Советская — были достаточно инклюзивными для того, чтобы привлечь наиболее активных и амбициозных украинцев и белорусов перспективами социального продвижения на высшие посты, одновременно нейтрализуя любую протонационалистическую ересь в весьма ограниченной элитной среде. Эта инклюзивность в сочетании с близостью языка и культуры и отсутствием действительно важных для домодерного самосознания конфессиональных барьеров существенно облегчила ассимиляцию украинских элит. Однако с другой стороны слабость институтов и общая цивилизационная недоразвитость Российской империи сделали невозможной аналогичную ассимиляцию широких крестьянских масс, как это произошло, скажем, во Франции, в которой династическая колонизация — то есть преобразование разноэтничных «крестьян во французов» (в терминах Юджина Вебера), довольно успешно произошла в XIX столетии [Weber 1974]. Российская империя почти полностью русифицировала города, но ничего не смогла поделать с гигантской, преимущественно неграмотной сельской периферией [Миллер 2000].

Несмотря на определенную и в целом вынужденную амбивалентность большевистской политики 1920-х гг. в сфере языка и культуры, советская модернизация существенно изменила положение [Martin 2001]. Ликвидация неграмотности, стремительная урбанизация-индустриализация и введение всеобщей (русскоязычной) воинской службы заметно ускорили ассимиляционные процессы во всех республиках, а в Украине и Белоруссии в наибольшей степени. В этом плане крайне важным было уничтожение национальной интеллигенции и истребление так называемых «кулаков» — как перспективного сельского «среднего класса», а также закрепление крестьян в колхозах, то есть преобразование их в бесправных беспаспортных рабов (лишенных возможности выезда из своего убогого гетто) и почти безденежных (поскольку плата за рабский труд осуществлялась натурой, если вообще осуществлялась).

Отдаленным последствием такой геттоизации было углубление цивилизационного барьера между преимущественно русскоязычным городом и украиноязычным селом; подсознательное, а иногда и сознательное отождествление украинского мира с сельским — нищенским, малообразованным и «малокультурным»; формирование на этой основе у городских (русскоязычных) жителей глубокого пренебрежения к отсталым, недоразвитым и неполноценным сельским (украиноязычным) согражданам и синекдохическое пересечение такого отношения на все украинское; наконец, интернализация такого отношения сельскими жителями и формирование на этой основе глубокого комплекса неполноценности.

Фактически большевики превратили село во внутреннюю колонию [Эткинд, Уффельман, Кукулин 2012] — аналог «третьего» мира относительно городского «первого», источник беспощадной экономической эксплуатации и трудовой миграции на тяжелые, опасные и малооплачиваемые работы в городе. Даже осуществленная при Хрущеве отмена крепостного права, то есть выдача колхозным крестьянам паспортов, не изменила их общего дискриминационного положения, поскольку сохранилась система «прописки» — как своеобразный эрзац виз, с помощью которых первый мир регулирует доступ жителей третьего мира к своим ресурсам. Собственно говоря, даже сам процесс получения прописки во многом подобен получению визы с правом на работу: для этого нужны либо взятка, либо брак (реальный или фиктивный), либо поступление на учебу, либо зачисление в «лимитчики» — категорию работников, которых не хватает в первом мире по тем или иным причинам.

Безусловно, при всем подобии между глобальным третьим миром и советским внутренне-колониальным, следует помнить и о существенном различии между ними — отсутствии в советском колониализме фундаментальной расистской компоненты. Коммунизм как система был самым различным образом незаконен и дискриминационен по отношению к многим группам, включая этнические, однако на индивидуальном уровне у советских подданных было несравненно больше возможностей избежать дискриминации по сравнению с цветными жителями Африки, судьба которых существенно предопределялась уже самим цветом их кожи. Для украинцев такой кожей был их «черный», «колхозный» язык — убогий, позорный и отсталый. Изменить эту «кожу» было несложно, по крайней мере, во втором поколении, — что, собственно, и провело практический знак равенства между урбанизацией и русификацией и сделало почти половину этнических украинцев в быту русскоязычными.

Этот процесс преобразования вчерашних колхозных рабов в относительно более свободных и обеспеченных, а главное — более продвинутых с точки зрения статуса горожан (с русским языком как признаком этого статуса) может быть чрезвычайно интересной темой для постколониальных исследований. Он включает: отбрасывание аутентичного языка и связанной с ним (посредством разнообразных культурных кодов) идентичности; ежедневный опыт обид и оскорблений (реальных или воображаемых) со стороны социально и культурно продвинутых горожан; регулярное переживание стыда из-за своих сельских, малообразованных и «малокультурных» родственников; глубокую и чрезвычайно травматическую для психики интернализацию ощущения цивилизационного превосходства городских «белых» над сельскими «черными» — русскоязычного мира над украиноязычным [Грабович 1994].

Майкл Гехтер в пионерской работе «Внутренний колониализм: кельтские окраины в британском национальном развитии» (1975) был едва ли не первым, кто написал о «белом расизме» как важном факторе, который поддерживает структуру внутренней колонии и обеспечивает ассимиляцию угнетенного меньшинства (его преобразование из «черных» в «белых») или же толкает ее к радикальному национализму (то есть, к защите своей «чернокожести»). «Англосаксы и кельты не разнятся цветом кожи, — писал он, — однако расизм процветает и там» [Hechter 1975: XVI-XVII].

«(1) Характерной чертой имперской экспансии является унижение автохтонных культур периферийных групп. (2) Одним из следствий такого унижения оказывается ослабление воли и способности автохтонного населения сопротивляться колониальному режиму. (3) Политическая инкорпорация решающим образом влияет на прогресс англоизации, которая осуществляется не только посредством правительственных декретов, но и через добровольную ассимиляцию периферийных элит» [Hechter 1975: 24].

Александр Мотыль, обсуждая аналогичные проблемы на «восточнославянских окраинах» Российской империи, главным образом в Украине, употребляет более точный термин «супрематизм» для обозначения пренебрежительного отношения значительной части русскоязычного населения, в том числе властных элит, к украинскому языку как будто бы неполноценному и недоразвитому, а потому и к его носителям как к людям второго сорта (малообразованное «село» или же идеологически акцентуированные «националисты») [Motyl 2013]. Российский супрематизм как определенное мировоззрение и дискурс является безусловно производным от колониальной ситуации, описанной тем же Мотылем около четверти века тому назад:

«Использование того или иного языка имеет большое символическое значение в политизированной языковой среде, однозначно располагая говорящего с той или другой стороны идеологической баррикады... Украинские диссиденты (...) ощущали, что использование украинского языка равнозначно оппозиционности в отношении советского государства... Хотя вроде бы никакой закон и не запрещал отклонений от «нормального» языкового поведения..., в целом нерусские, а украинцы в частности, прекрасно знали, что упорное употребление собственного языка, особенно среди русских, будет восприниматься как отрицание

«дружбы народов» и проявление неприязни к «советским людям». Именно потому, что украинский и русский язык взаимно понятны, использование украинского в общении с русскоязычными собеседниками было настолько явным демаршем против духа, если не буквы русификаторской политики, что каждый наглец, который решался на подобный демарш, автоматически получал ярлык «бандеровца», «петлюровца», «буржуазного националиста» или, в лучшем случае, неблагодарного родственника «старшего брата»... Мало кто из украинцев ради чистоты языка шел на риск публичного осуждения, потери работы и даже тюрьмы. Чтобы избежать шовинистических реакций и подозрений в нелояльности, большинство переходило на русский» [Motyl 1987: 100-101].

Следует подчеркнуть, что внутренний колониализм в российско-советской империи не был только украинским явлением. Закрепощение крестьян в колхозной системе углубило везде, включая Россию, драматический разрыв между «первым» (городским) и «третьим» (сельским) миром. И все же в России «первый» и «третий» мир говорили на одном языке; колонизаторы и колонизируемые здесь принадлежали к одной культуре и этносу. «Третий» мир в России был таким же нищенским, отсталым и отверженным, как и в Украине. Однако в России существовал также «первый» мир — мир Москвы, Ленинграда и других больших городов, в которых национальный язык и культура если и не расцветали, то все же развивались, несмотря на все идеологические ограничения — чего совершенно нельзя сказать о Киеве, Одессе или Харькове. (Единственным частичным исключением можно считать западноукраинские города, в которых урбанизация не означала русификации, потому что местное население не интернализировало комплекса второразрядности относительно колонизаторов. Здесь их воспринимали преимущественно как оккупантов — в соответствии с парадигмой стран Восточной Европы и Балтии. Однако периферийность этого региона, особая репрессивность режима и не прекращаемое до сих пор его пропагандистское демонизирование и отчуждение сводят роль региона к маргинальной в общеукраинском контексте в целом).

Фактически везде за пределами России внутренний колониализм приобрел признаки колониализма внешнего, российско-советского. Социальное угнетение приобрело национальную окраску. Первый мир говорил по-русски, третий — на местных языках, которые становились своеобразным стигматом, черной кожей, признаком цивилизационной отсталости или, того хуже, политической неблагодежности.

Выводы

В заключение вслед за Дэвидом Муром мы можем повторить, что постколониальность в настоящее время является настолько глобальным, универсальным явлением, а колониальный опыт настолько широк и разнообразен, что каждая культура и личность вступают с ними в определенные отношения — посредством прибавки приставок нео-, пост-, экс-, анти-, эндо-, не-. Можно спорить, действительно ли постколониальность, как утверждает Мур, «стала настолько же фундаментальной для мировых идентичностей, как и ряд других универсальных категорий — расы, класса, касты, возраста, пола». Или действительно ли ту или иную местность считать «постколониальной». Более важно, однако, на самом ли деле «постколониальная герменевтика» помогает нам лучше понять ту или иную местность, ту или иную ситуацию [Moore 2001: 124].

Собственно, о продуктивности «постколониальной герменевтики» говорят и Дорота Колодзейчик и Кристина Шандру, когда призывают полностью использовать существующие теоретические наработки постколониальных исследований, сохраняя при этом здоровый скептицизм в отношении любых слишком прямолинейных сопоставлений и заимствований и одновременно полностью используя «саморефлексивные качества приставки «пост-» в посткоммунизме и постколониализме». Как пишут они, речь идет о «всестороннем изучении

региона в рамках европейской модерности, а не о завоевании для него некоего особого постколониального статуса» [Kołodziejczyk, Sandru 2012: 116].

В предисловии к украинскому изданию своего классического труда «В иных мирах» Гаятри Чакраворти Спивак аналогичным образом приглашала коллег к более активному овладению постколониальной методологией: «Творческое применение модели «колонизатор-колониализованный» на ваших территориях, — писала она, — только усилит, придаст новый импульс дискурсу колониализма и постколониальных исследований, а также будет способствовать выработке очень интересной модели» [Співак 2006: 21].

На самом деле, было бы наивно полагать, будто бы постколониальный подход объясняет все украинские проблемы. Но еще более наивно думать, что без него можно вполне обойтись при обсуждении вопросов украинской идентичности, русификации, региональных разделов, амбивалентного отношения к России и Западу (и олицетворяемым ими ценностям) и т.д. Совсем недавно Мирослав Шкандрий, один из авторитетных западных украинистов, писал: «Мне кажется совершенно очевидным, что постколониальные исследования, наряду с феминистскими исследованиями и исследованиями подчиненных (subaltern), являются тем участком, на который следует обратить внимание украинским ученым. Концепты, методы, идеи и образцы, заимствованные из постколониальных исследований, могут ощутимо стимулировать анализ украинского культурного опыта» [Shkandrij 2007: 83].

Авторизованный перевод с украинского
В.П. Макаренко

Величенко С. 2009. Чи була Україна російською колонією? Деякі зауваження щодо поняття колоніалізм. — *Україна модерна*. — № 3.

Грабович О. 1994. Спадщина колоніалізму в сучасній Україні. Кілька ключових питань. — *Арка*. — № 2.

Кундера М. 1995. Трагедія Східної Європи. — *Журнал "І"*. — №6. Доступно: <http://www.ji.lviv.ua/n6texts/kundera.htm>. — Проверено: 14.10.2013 г.

Миллер А. 2000. «Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX века). — СПб.: Алетейя. Доступно: <http://www.ukrhistory.narod.ru/texts/miller.htm>. — Проверено: 14.10.2013 г.

Павлишин М. 1993. Що пере-творюється в Ре-креаціях Юрія Андруховича? — *Сучасність*. — № 12.

Патнем Р. 2001. *Творення демократії. Традиції громадянської активності в сучасній Італії*. — Київ: Основи.

Снайдер Т. 2011. *Криваві землі*. — Київ: Грані-Т.

Співак І.Ч. 2006. *В інших світах. Есеї з питань культурної політики*. — Київ: Всесвіт.

Эткинд А., Уффельман Д., Кукулин И. 2012. Внутренняя колонизация России: между практикой и воображением. — Эткинд А. и др. (ред.). *Там, внутри. Практики внутренней колонизации в культурной истории России*. — Москва: НЛЮ.

Carey H., Raciborski R. 2004. Postcolonialism: A Valid Paradigm for the Former Sovietized States and Yugoslavia?. — *East European Politics & Societies*. — Vol. 18. — No. 2.

Chari S., Verdery K. 2009. Thinking between the Posts: Postcolonialism, Postsocialism, and Ethnography after the Cold War. — *Comparative Studies in Society and History*. — Vol. 51. — No. 1.

Fiut A. 2007. In the Shadows of Empires. Postcolonialism in Central and Eastern Europe. — Why Not? — Korek J. (ed.). *From Sovietology to Postcoloniality. Poland and Ukraine from a Postcolonial Perspective*. — Huddinge: Sodertorns hogskola.

- Hechter M. 1975 *Internal Colonialism: The Celtic Fringe in British National Development, 1536-1966*. — London: Routledge.
- Kappeler A. 2003. Mazepintsy, Malorossy, Khokhly: Ukrainians in the Ethnic Hierarchy of the Russian Empire. — Kappeler A. et al. (eds.). *Culture, Nation, and Identity*. — Edmonton: CIUS.
- Kołodziejczyk D., Sandru C. 2012. Introduction: On colonialism, communism and east-central Europe — some reflections. — *Journal of Postcolonial Writing*. — Vol. 48. — No. 2.
- Korek J. 2007. Central and Eastern Europe from a Postcolonial Perspective. — Korek J. (ed.). *From Sovietology to Postcoloniality. Poland and Ukraine from a Postcolonial Perspective*. — Huddinge: Sodertorns hogskola.
- Kuhiwczak P. *How postcolonial is post-communist translation?* — Доступно: <http://go.warwick.ac.uk/wrap>. — Проверено: 14.10.2013 г.
- Layton S. 1994. *Russian Literature and Empire: Conquest of the Caucasus from Pushkin to Tolstoy*. — Cambridge: Cambridge UP.
- Martin T. 2001. An Affirmative Action Empire: The Soviet Union as the Highest Form of Imperialism. — Suny R. G., Martin T. (eds.). *A State of Nations: Empire and Nation-Making in the Age of Lenin and Stalin*. — Oxford: Oxford UP.
- Moore D. 2001. Is the Post- in Postcolonial the Post- in Post-Soviet? Toward a Global Postcolonial Critique. — *PMLA*. — Vol. 116. — No. 1.
- Motyl A. 1987. *Will the Non-Russians Rebel?* — Ithaca: Cornell UP.
- Motyl A. 2013. Soviet-Style Imperialism & the Ukrainian Language. — *World Affairs Journal*. — February 11. Доступно: <http://www.worldaffairsjournal.org/blog/alexander-j-motyl/soviet-style-imperialism-ukrainian-language>. — Проверено: 14.10.2013 г.
- Scheibner T. 2009. Okres postkolonialny czy postkolonialna Europa Wschodnia i Srodkowa? — *Porównania*. — Nr. 6.
- Shkandrij M. 2007. The Postcolonial Moment in Ukrainian Writing. — Korek J. (ed.). *From Sovietology to Postcoloniality. Poland and Ukraine from a Postcolonial Perspective*. — Huddinge: Sodertorns hogskola.
- Skórczewski D. 2009. Polska skolonizowana, Polska zorientalizowana. Teoria postkolonialna wobec “innej Europy”. — *Porównania*. — Nr. 6.
- Slezkine Yu. 1994. *Arctic Mirrors: Russia and the Small Peoples of the North*. — Ithaca: Cornell UP.
- Stefanescu B. 2012. Reluctant Siblings. Notes on the Analogy between Postcommunist and Postcolonial Subalterns. — *CEU host lecture*. — March 5.
- Tlostanova M., Mignolo W. 2009. Global Coloniality and the Decolonial Option. — *Kult*. — No. 6.
- Weber E. 1974. *Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France, 1870-1914*. — Stanford, CA: Stanford University Press.